

## "Поет невидимая птица..."

**От редакции.** Илья Рейдерману исполняется 70 лет. Он — из молодых шестидесятников, читавших Цветаеву и Ахматову в самиздате, встречает весьма серьезный юбилей с душой, полной воспоминаний об учителях, в размышлениях о том, нужны ли они нынешним молодым...

Поэт, педагог, культуролог, Илья интересен и поучителен. Публикуем его воспоминания о замечательных людях и стихи, написанные совсем недавно.

### Встреча с Ахматовой

С Анной Андреевной Ахматовой я встречался всего один раз. Было это незадолго до ее смерти, в 1963 или 1964 году. В памяти моей не удерживаются даты. Я был студентом Пермского университета, давно уже писал стихи, и был у меня учитель, Андрей Сергеев, с которым я уже несколько лет переписывался и встречался. Поощряя мое стихописание, он писал: "Болезнь идет нормально". И я понимал, что еще многим придется переболеть, прежде чем я обрету свой голос. Если быть поэтом — это судьба, то у каждого она сбывается по-своему, и я своим голосом заговорил, как мне кажется, довольно поздно, может быть, только на старости лет. А тогда я бредил всеми поэтами, которых открывал для себя. Прежде чем пришла пора "пастерначить" и "манделштамить", — я был ошеломлен поэзией Марины Цветаевой.

Помнится, мы сидели в библиотеке и переписывали от руки под копирку стихи из ранней книги Марины, случайно уцелевшей в фондах. Среди переписчиков была девушка, в которую я был влюблен. "Муки любви" (разумеется, "несчастной") и стихи Марины образовали гремучую смесь, которая и взрывалась в моих стихах. Сергеев, прочитав их, при встрече мне сказал: пора! И дав мне номер телефона, велел позвонить, чтобы встретиться с Анной Андреевной.

Это был телефон Нины Леонтьевны Шенгели. Мне было велено прийти к определенному часу. Говорила ли со мной по телефону сама Анна Андреевна или Нина Леонтьевна — не помню. С Ниной Леонтьевной я потом подружился, и она мне сказала, что в тот день я был шестой или седьмой из читавших стихи, и мои стихи были лучшими.

Комната. В ней немолодая полная женщина. Первое впечатление: ба-

рыня! Госпожа! Императрица! Величественные жесты, неторопливая речь, голос густой, низкий. Она была не одна — с ней беседовала перед моим приходом женщина, как потом выяснилось, писательница Галя Корнилова.

Мое появление прервало беседу. Мне было велено читать. И я прочитал безумно страстные, горячие (если их подержать в ладонях — обожгут!) любовные стихи, совершенно цветаевские. Я не подражал Марине — я был Цветаевой, пусть и в брюках и в другой эпохе... Как я теперь понимаю, жутким нахальством было читать стихи о любви (кому? Ахматовой?), и к тому же, в цветаевском духе... Но стихи были настоящие. К сожалению, они у меня не сохранились — может быть, их сохранила та, которой они были посвящены...

Когда я их писал — я впервые почувствовал себя поэтом. Впрочем, я их не писал. Я их выборматывал, бродя всю ночь до утра по улицам города. Я был готов ко всему, бредил самоубийством, в моем сознании с грохотом рушилась вся обычная жизнь, и на месте ее возникали пустоты. Эти пустоты я и пытался заполнить стихами. Потом я понял, что стихи спасли мне жизнь, я выжил благодаря им.

Повисла пауза. Потом Ахматова сказала мне слова, которые я стеснялся цитировать, — и именно поэтому до сих пор не брался описывать эту встречу с ней. Она сказала: "Мне вас нечему учить!". Что еще было при этом сказано — точно вспомнить не могу, в голове моей зашумело. Всю жизнь я истолковывал сказанное в том смысле, что "вы все умеете" (кажется, нечто подобное тоже было произнесено), но теперь мне кажется, что можно истолковать и иначе: "Мне, Ахматовой, вас учить нечему — поскольку вас уже учит Цветаева".

Во всяком случае — сказанное было истолковано всеми как похвала. Анна Андреевна о чем-то меня спрашивала, среди вопросов был и такой: а на каком языке вы читаете английских поэтов? До меня шел разговор об английских поэтах-романтиках и при мне он продолжился. Увы, я ничего путного сказать не мог — кроме того, что читаю Байрона и Шелли только по-русски. Ахматова заметила: "Жаль! В переводах все теряется. Поэтов нужно читать на их родном языке". Мне стало стыдно. Я явно не дотягивал до какого-то уровня, без которого нет равенства в общении.

Я молча прислушивался к разговору Анны Андреевны с Галей. Но Анна Андреевна давала понять, что адресует свои слова и мне. Заговорили о сегодняшних поэтах. "Пишущих хорошие стихи — много. А поэтов — мало", — сказала А. А. Эти слова я тоже запомнил на всю жизнь. Понял, что недостаточно написать одно или даже несколько прекрасных стихотворе-

ний. Что необходима смелость, что нужно отважиться быть поэтом, жить как поэт. О Бродском, которого А. А. в данном контексте, несомненно, имела в виду, я знал в ту пору очень мало. Все же в Перми я был оторван от ленинградско-московской литературной жизни, и листочки со стихами Бродского до меня не доходили. Андрей Сергеев, кажется, давал мне прочесть поэму "Шествие", которой я восхитился, но мало что понял. Да еще показывал открытку от Бродского, адресованную ему. Кстати — войдя в гостиную Нины Леонтьевны, я отрекомендовался, что мой учитель — Андрей Сергеев. И Анна Андреевна сказала: "Хороший у вас учитель!".

Пожалуй, мои воспоминания исчерпаны. Встреча эта, как и предполагал Андрей, была для меня очень важна. Я получил "благословение" — и оно меня согревало всю жизнь, компенсируя горечь непризнания-неиздания, позволяя, несмотря ни на что, не утрачивать веры в свое поэтическое призвание. Я знал, что я, пишущий стихи, — должен, в конце концов, превратиться в поэта, если удастся. Но может быть, самое главное — я получил "эстафетную палочку" от людей серебряного века, от Анны Андреевны да и Нины Леонтьевны, я увидел присущую им меру высочайшего человеческого достоинства, сохранившуюся вопреки всем житейским испытаниям и унижениям. Позднее то же самое открылось мне в Анастасии Ивановне Цветаевой. Я счастлив, что эти люди мне встретились, и я вовремя смог понять: вот "планка" поэтического, этического, человеческого поведения, вот уровень развития личности, — и нужно стремиться достичь этой высоты, и на это не жалко потратить всю жизнь.

3.01.04. г.

## **Анастасия Ивановна**

Рылся вчера в архиве. Старые письма, стихи... Самое сильное ощущение: как будто жизнь моя была проявляемой в ванночке фотографией — изображение еще размыто, нечетко, и кто-то должен разглядеть, предугадать то, что возникнет. Изумляюсь: замечательные люди, мне встретившиеся, — угадали! Угадали даже то, что будет лет через тридцать-сорок... Ведь вроде бы и особых оснований у них не было, для того чтобы ободрять, пророчить будущее, предсказывать судьбу... Какое-то ясновидение! Мне слышится ликующий голос булгаковского Мастера: "Как я угадал!". Осуществилось. Говоря словами Марины, "все в душе сбылось и спелось".

Кто же лучший угадыватель? Человек с творческим отношением к миру. Музыкант, импровизируя, угадывает следующий звук, а заодно и то

целое, в котором этот звук должен занять свое единственное место. Поэт — угадывает слово, рифму, строку... Юноша — угадывает чаемую встречу, живет радостным ожиданием еще неясного, но пречувствуемого события... Всякий чуткий человек угадывает по лицу и губам промелькнувшую мысль, произнесенное слово... А тот, кто достиг некоторых духовных высот, угадывает в другом его душу, его дар. Он видит ясно то, что на самом деле еще смутно, он проявляет человека...

Анастасия Ивановна Цветаева — проявила меня. Укрепила мою веру в себя, дала мне увидеть идеальный образ самого себя — в момент, когда я больше всего в этом нуждался. В сущности, в этом-то и заключается чудо доброго, я бы сказал, страстного внимания, особенно характерного для Цветаевых, способных, внимая чему-то, очаровываться им, безмерно преувеличивать реальные достоинства предмета, возвышать, так сказать, поднимать над уровнем моря, уровнем обыденности... Откуда в немолодой женщине — такой почти детский восторг, такая непосредственность и свежесть восприятия? В Цветаевых — интенсивнейший цвет, свет и, брошенный на любой предмет, он преображает его, высвечивает в нем сокровенное.

Юра Коваленко, бывший гражданский летчик, мой знакомый еще по Кишиневу, писал мне бодрые письма, громко хвалил мои опусы и пророчил славное будущее. Будучи вхож в дом А. И. Ц., он показал ей мою единственную книгу "Миг", вышедшую в издательстве "Картя Молдовеняскэ" в 1975 году, и дал мой адрес. Я в ту пору пребывал в Одессе в полной безвестности, печатая на украинском языке статьи в молодежной газете и читая лекции на заводах и в общежитиях. Даже здешнее сообщество начинающих и неофициальных литераторов — не проявило ко мне интереса, да я и сам не очень рвался к новым знакомствам, пребывая во внутреннем одиночестве в том мире, который я для себя выгородил... И вдруг — открытка, обыкновенная почтовая открытка, текст которой не уместился на отведенном для этого месте и перешел на лицевую сторону, окружив со всех сторон адрес, использовав каждый миллиметр свободного пространства, так что и сам адрес можно было обнаружить с трудом... Буквы все уменьшались в размерах, покуда не стали по краям совсем бисерными. Почтовые работники, должно быть, до того изумились, что даже забыли шлепнуть печатью по марке. Зато сама А. И. возле марки вывела цифирки: 8.2.80. И ниже поставила цифру 2, так сказать, нумеруя страницы. Написанное меня оглушило.

*"Дорогой Илья! Вы — замечательный поэт! (подчеркнуто А. И. Ц.)  
У меня на столе подарки знакомых поэтов — Горбовский, Парпара, Семе-*

ненко, Грубиян, Захаров, Кобрин, — но восхищение вызывает только Рейдерман. Благодарю Бога за встречу с Юрой Коваленко. И хочется мне (нрзб) Вам только стихи Чижевского — ученого, загубленного в страшные годы, меня вернувшие, — а его вернули они только, чтобы погаснуть. Теперь его поднимают все области науки, ибо был, несомненно, гений, и кроме наук простер свои руки и в живопись (импрессионист), и в Рифму и Ритм".

Далее она обещает найти стихи Чижевского, извиняясь, что недавно переехала в новую квартиру, не все еще разложено, но когда она найдет стихи Чижевского, и я их прочту, я смогу "восхититься, мысленно пожав руку ушедшего". Сообщает, что ей 85, что она дружна с поэтом Евгением Винокуровым, написала статью к его пятидесятилетию в журнале "Юность". "Он прост, у него нет изысканности Вашей, но он должен Вас любить, ибо о себе говорит: "я — смысловик, признаю стихи только — смысловые" Далее: "Илья, пришлите мне из ненапечатанных, постараюсь познакомиться с ними поэтические отделы "Москвы" и "Нового мира", а м. б. и других. Вам надо шире печататься. Вот мои любимые из "Мига" — Хлеб, Полжизни, Эхо света, Февраль безветрен, Когда приезжаешь, Рассекает, Танцы, Театр, (нрзб), Сны, В этом моцартовском, и (нрзб) из др. сб-ка (Юра унес) Ночной поезд. И столько еще... Порадуйтесь со мной!". И в самом уголке этой странички я только сейчас разглядел аккуратное А. Ц.

На лицевой стороне открытки под цифрой 2: "Кроме Чижевского — стихов мне Вам — прочесть — нет, ибо лучше Ваших не знаю. Но из прозы, если не читали Распутина (Вал. Григ.) — очень советую". Спрашивает, как отношусь к Марине, какую прозу ее читал. (А я читал буквально все, что печаталось.) Говорит о "Корнях и плодах" в четвертом номере "Звезды" за 1979 г. Спрашивает, член ли я Союза, могу ли приехать в Коктебель, в Москву, какова моя семья...

Что сказать? До сих пор не могу понять меры ее восторга. Книга была не очень удачная, испорченная неизбежным компромиссом с советским издательством. Контрабандой вошедшие в нее стихи — были музыкальными, медитативными, философичными... О них вполне можно было сказать словами вождя пролетариата: "страшно далеки они от народа"... Должно быть, Анастасия Ивановна услышала в них нечто родное себе — отзвуки культуры серебряного века. Учась в Пермском университете, я рылся в богатых фондах библиотеки, выкапывал даже всякие "Чтецы-декламаторы", из которых переписывал стихи Зинаиды Гиппиус и юной Марины Цветаевой, не говоря уже о других. Мои друзья читали наизусть Гумилева, боготворили Марину — и все вместе мы переписывали от руки

чудом уцелевшую в библиотеке книгу Марины "Версты". Переписывали под копирку — чтобы каждому достался экземпляр. Я ясно ощущал свою "прописку" в поэзии серебряного века — и не слишком разделял всеобщее увлечение поэзией Евтушенко, да и Вознесенского. Если кто мне и нравился из тогдашних молодых, так только Ахмадулина. Можно сказать, что я был эстетом, — а это не слишком приветствовалось союзписательскими тюремными надзирателями. Поэтому все неоднократные старания А. И. Ц. как-то пристроить мои стихи — были обречены на неуспех. Помнится, попали они и в журнал "Москва", отделом поэзии которого, кажется, заведовал А. Парпара. Не упомяну, где еще они лежали... Но одно деяние А. И. Ц. помню очень хорошо: через знакомую редакторшу, с которой она работала над рукописью книги своих воспоминаний, — она добилась включения книги неизвестного поэта, даже не члена писательского союза, в план редакционной подготовки издательства "Советский писатель"! Правда, автор именовался Ильей Рудиным — по моему журналистскому псевдониму, что пошло, по-видимому, от Юры Коваленко. Рукопись выдержала три рецензии, ни одна из них ее не убила, в числе рецензентов были Лариса Васильева и Владимир Леонович, последнему я по сей день благодарен.

Убила рукопись перестройка — из издательства пришло предложение опубликовать кратенькую выжимку из книги в составе коллективного сборничка нескольких поэтов, я согласился, но предложил именовать себя Ильей Рейдерманом... Остальное — молчание. До сих пор сомневаюсь: нужен ли России еще один "русскоязычный" поэт с неблагозвучной фамилией?

Сохранились еще две открытки, в точности похожие на первую, в одной она спрашивала, почему я не отвечаю (я был не слишком хорошо воспитанным молодым человеком), в другой извинялась, что пишет открытку, так как друзья не принесли конвертов... Были встречи с Анастасией Ивановой — и не одна. Встречалась с ней и моя жена Оля, будучи в Москве в 1982 году.

К сожалению, мемуарист из меня никудышный — нет памяти на детали, подробности, даты, слова, сказанные тогда-то и при таких-то обстоятельствах. Я воспринимаю жизнь как музыку — но разве можно музыку пересказать, от ее остаются лишь впечатления... Впечатление от личности А. И. Ц. было огромным. Маленького роста, сутулящаяся, с плохим зрением — она поражала напором своей жизненной энергии, жадным интересом к жизни. В разговорах неизбежно возникало прошлое — но чувствова-

лось, что оно так и не превратилось в воспоминание, осталось живым... Много лет спустя я понял, что это замечательный дар благодарной и благодарной памяти: не давать умереть всему, что жило, сохранить его энергию, витальность, его жажду сказаться и участвовать в нашем сегодня... Это подобно памяти о людях, нами любимых, — они для нас никогда не умирают, мы продолжаем разговор с ними, мы обращаемся к ним, как бы вопрошая, как бы они отнеслись к тем или иным нашим сегодняшним событиям и поступкам. Они выросли в наше сознание, в нашу личность, в нашу душу...

Еще одно качество, обратившее мое внимание, — отсутствие какой бы то ни было рисовки, ощущения своей значительности, но при этом абсолютное, несомненное чувство собственного достоинства. Как бы уже бессознательное, естественное. Потом я понял, что это и есть особенность людей серебряного века — выросших в условиях духовной свободы. Никакие последующие унижения, тюрьмы, лагеря — не смогли этого отменить.

Помню ее квартиру на Б. Спасской, акварели Волошина на стенах. Небольшая комната, ощущение совершенно спартанского быта. Помню, как видел ее на кухне, где она варила себе какую-то кашку, с виду не очень аппетитную. Вероятно, это была овсянка. И это потом как-то по иному осмыслилось, в душу запало, совпало с моей собственной житейской тактикой: человек живет вне быта — над бытом — поверх быта... Хотя я знал, конечно, что она ограничена в своих возможностях налаживания бытовой жизни, что ей помогают друзья... Как я потом узнал, и с деньгами у нее были особые отношения... Как раз такие, при которых денег в нужный момент в кошельке может и не оказаться. Вспомнились строки позднего Пастернака — о весенних птицах: "они в неубранном бору живут, как жить должны артисты. Я тоже с них пример беру".

Она дружила с Пастернаками. Однажды я попал вместе с ней на похороны Александра Пастернака. Туда мы ехали долго в такси — вместе с какой-то сопровождавшей А. И. женщиной. Кажется, Анастасия Ивановна (тогда ли, или в другой раз?) рассказывала мне о Пастернаках — восхищало, что между людьми вообще возможны такие отношения, что люди вообще могут быть такими! У гроба произносились речи, надолго запомнилось сказанное кем-то, кажется, литературоведом Тагером, что Александр Леонидович был человеком, который очень много требовал от себя — и ничего от других. Обратило Анастасию Ивановну ввзла внучка Бориса Пастернака.

Ее рассказы — о себе, о Марине — я потом обнаружил в книге. Но важно, что именно вспоминалось, что невольно акцентировалось. Помню рас-

сказ о Марине, которая произнесла чью-то фамилию так, что вышел итальянец — и восторгалась красотой фамилии и стоявшего за ней человека. А потом разочаровалась — оказывается, фамилия в правильном произношении звучала совершенно прозаично... Для меня тут открылась модель творческого поведения. Нет, не зря все же Анастасия Ивановна меня приняла и поняла — я всей душой был истинный "цветаец", я сам был готов очаровываться и восторгаться, преображая действительность так, чтобы она была "благозвучной", музыкальной, прекрасной...

В "Юности" я прочитал рассказы Анастасии Ивановны о ее ссылке, невероятных бытовых трудностях, строительстве дома, незаметном будничном героизме человеческого духа... Журнал прислала Анастасия Ивановна, на обложке было написано: *И. Рейдерман, см. стр. 23*. А на 23 странице было: *С сердечным приветом. Илье Рейдерману — мои сибирские годы. А. Цветаева. 22.11.86*.

Я написал об этих рассказах рецензию, которую опубликовали в ленинградском журнале "Аврора". Хорошо помню, что Анастасия Ивановна, поблагодарив меня, сказала, что ей нравится, как я пишу, и добавила: "Жду вашу прозу!". Прозаик из меня не вышел. Открытки, которые я от нее получал, непременно содержали в себе фразу: на таком-то году жизни. Увы, по видимому, сохранились далеко не все... Но думая о датах, вдруг догадался, что благословение Анастасии Ивановны застало меня на тридцать третьем году жизни! В этом возрасте человек, пусть даже дотеле не реализовавший себя, должен ощутить себя "в силе", до конца осознать свое призвание.

В одном из писем Анастасии Ивановне я привел евангельскую фразу "Бодрствуйте вместе со мной" и сказал, что мне смысл ее очень дорог, и что сама А. И. для меня пример такого бодрствования духа. В ответ мне было сказано, что слово *Бог* следует писать с заглавной буквы. Увы, в школе меня учили иному. Но я, кажется, научился не только писать, но и мыслить о Боге "с большой буквы"...

Еще один случай, связанный с Анастасией Ивановной, одновременно и печальный и забавный, не могу не вспомнить. Одесский журналист Евгений Голубовский написал Анастасии Ивановне письмо со своими вопросами и получил ответ, в котором было сказано: *у Вас в Одессе живет большой поэт Илье Рейдерман! Не пропустите!* Вздолнованный Голубовский прибежал ко мне и, сидя в комнате на Пушкинской, знакомился с моими рукописями, а может быть, и книжечкой... Полистав, он сказал явно иронически: "Большого поэта Рейдермана мы не пропустили". Что означало, конечно, полное неодобрение моего стихотворчества.



По сей день думаю, что тонкий ценитель всяческой одесской старины, в том числе и одесских поэтов былых времен, на сей раз ошибся. Всю жизнь бьюсь, чтобы доказать обратное. Кажется, только на седьмом десятке лет — обретаю полноту своего голоса. И счастлив, что за моей спиной — Анастасия Ивановна, как бы прикрывающая от злых ветров завистливого недружелюбия, непризнания, холодного безразличия. Сказавшая мне своим глуховатым, но внятными и добрым голосом: Вы — поэт! Да сбудется до конца ею сказанное...

Одесса. 6-7.01.04

### Молитва

Как трудно, Господи, как трудно!  
Ты счастье отмеряешь скудно.  
Но славно, Господи, как славно,  
что жизнь трудна и своенравна,  
и, словно зебра, полосата, —  
вслед за победою утрата,  
за темной — светлая полоска.  
Иначе — просто все и плоско,  
иначе — скучно все и пресно.  
Вот пропасти. Вот неба бездна.  
И хоть движения неловки, —  
живу, шагая без страховки.  
Благодарю Тебя за милость,  
за то, что эта жизнь — случилась,  
что я бессонными ночами  
в немую высь гляжу очами,  
что — хоть измучена заботой, —  
душа звучит высокой нотой,  
ликуя, радуясь, страдая,  
свой звук в гармонию вплетая.

Ночь на 17.06.07.

### Ночная гроза

Белле Ахмадулиной

Все дни стояла страшная жара.  
В природе и во мне — все глухо, сухо!  
Но отдаленный гром коснулся слуха,  
и я воскликнул: Господи, пора!

Пришла пора, чтобы излить дары,  
чтоб наших губ и щек — коснулась влага,  
чтобы в стихах, в слезах была бумага,  
чтобы зашлась душа от той игры,  
и сделал вдох я, целой жизни полный,  
как будто кто-то мне сказал: живи!  
И ночь июньская во вспышках молний  
разверзла бездны счастья и любви.  
О, как давно я ждал дождя! Ведь я  
сух, как земля. Как душно! И как скучно!  
Душе нужна безмерность бытия —  
она мертва, когда лишь равнодушна.  
Как много электричества во мне  
скопилось, и в бесплодном напряженье  
томится! Разрядилось бы во сне —  
но мне дано бессонницы мученье.  
Как рыба, жадно открываю рот.  
И жизнь опять — река, а не болото.  
Спасительный вдыхаю кислород,  
при вспышке молнии снимаю фото  
своей судьбы, как дерево, кривой,  
что все же страстно жаждет распрямиться.  
И ствол скрипит. И это мне не снится!  
Гроза — в душе. И я еще живой.  
Ты сух, бессонный дух, и искрою любой  
задет, мгновенно вспыхнешь, словно порох.  
Мир озарить — и одарить собой,  
исчезнуть вспышкой в мировых просторах...

Ночь на 27.06.07

\* \* \*

Как мертвая лежит собака,  
укрывшись от жары в тени.  
Земли не оросила влага,  
хоть гром гремел. О, эти дни  
июньские! День — за два, за три  
засчитывается (полны!).  
Лишь успевай явиться в кадре,  
чтобы озвучить даже сны.

Яви вишневых ягод спелость,  
забудь себя, оставив страх,  
чтоб все, что случилось, все, что спелось, —  
таилось не в черновиках.  
Я сам сгораю, словно лето,  
качаюсь веткой на ветру.  
И кажется — так много света,  
и никогда я не умру.

27.06.07

\* \* \*

Поет невидимая птица.  
С небес нисходит тихий свет.  
Листок древесный шевелится.  
Вот — песня есть, а птицы — нет.  
Жизнь, своего певца не выдай!  
Жилец, что пущен на постой, —  
он так живет, никем не видим,  
он прячется в листве густой.  
И с ветки прыгая на ветку,  
капризен и нетерпелив,  
он ни за что не хочет в клетку,  
просторы новые открыв.  
...Листочек со стихотвореньем —  
в нем зелень и лазурь небес,  
в нем зарифмовано мгновенье.  
А где поэт? Поэт исчез.  
Пылиться будут где-то книги.  
Не слышно шелеста страниц.  
В них охи, ахи, вздохи, крики.  
И жалобы. И трели птиц.  
В век умноженья и деленья  
идет мимо поэтов люд.  
Иные, может, поколенья,  
те буквы черные склюют?  
Но кто из стопки книгу вынул —  
пусть хоть на миг богат, как Крез!  
А где поэт? Неужто сгинул?

Он вжился в жизнь — и в ней исчез.  
Покуда в мире песня длится,  
не пропадая без следа,  
поэт — невидимая птица —  
летит неведомо куда...

8.06.07

## Зимнее утро

Все флаги ранним утром серы.  
Любой из них — какой страны?  
Какой из них — достоин веры?  
Зима. И трудно ждать весны.  
Есть трезвость дня. Есть трезвость часа.  
Земных забот девятый вал.  
А миг, что только что умчался, —  
исчезнет, как и не бывал.  
Жизнь — уходящая натура.  
Все, неподвластное уму,  
все то, чего хотелось сдуру, —  
ушло во тьму, ушло во тьму.  
Ну что ж — такое время года.  
Ты сам, как дерево, зачах.  
Как эту тяжесть небосвода  
удержишь на своих плечах?  
Но дерево, должно быть, знает  
глубинный смысл, на все ответ:  
Жизнь убывает, исчезает,  
чтоб выйти вновь из тьмы на свет...

21.12.06

## Входной билет

Феликсу Кохрихту

Живешь, зарывшись в будни, словно крот.  
У этой жизни — беспощадной норы.  
Кто за руку возьмет и проведет  
меня через заслоны билетеров?

Ну что же делать, если ты поэт?  
А у поэта — и билета нет,  
и он никем не зван на жизни праздник,  
полубезумный и смешной проказник.  
О нем потом напишет краевед,  
что знал его. Да, был бедняга странен.  
Гордец, он не вымаливал билет,  
но был заметно непризнаньем ранен.  
Ему любовь была нужна, как хлеб.  
А если нет любви — хотя бы слава.  
Что толку умирать под крики "браво"?  
Зачем все это? Разве — не нелеп?  
...Там — билетер, а тут, глядишь, забор,  
мобильника почти секретный номер.  
Вступать ли с этим всем поэту в спор?  
В ином пространстве он и жил, и помер.  
С другой планеты он, с другой звезды,  
— должно быть, по ошибке здесь, случайно.  
Крылатый конь не признает узды.  
Но как же он живет? Сие есть тайна.  
Поэта держит в воздухе строка.  
А рифмы не найдет — так в землю носом.  
О, как слепцу — ему нужна рука  
надежная, чтоб не быть под вопросом!  
Глядит на все он с тайной высоты,  
и, может, только в том его победа.  
Не знают билетеры правоты  
его. Но он проходит — без билета.

Ночь на 27.06.07

